привели и не могли не привести к духовному краху великого русского писателя. В результате этого краха он сжигает второй том «Мертвых душ», который, впрочем, был слабее первого тома оттого, что оказался пропитан растленным духом церковников, скрывавшихся в катакомбах и мрачных закоулках Оптиной пустыни и прочих притонах воинствующих мракобесов...

— Так-так. Вы, конечно, прочли второй том и оттого так уверенно его отрицаете?

— Нет. Все это нам рассказывала еще в селе учительница литературы Эда Генриховна Шутенберг, и девочки мне помогли. Заучить.

— Ссыльная учительница?

— Да. Но она потом исправилась, была восстановлена. И орденоносец даже сделалась.

— Может быть, она даже заслуженной учительницей стала?

— Да. Я забыла сказать. И заслуженной.

— И она вас, деревенских учащихся, приучала к самостоятельности мышления.

— Упорно приучала. Настойчиво. Много сил положила на это дело.

— Ну что ж.

Едва заметной улыбкой, блуждающей по лицу, мадам Пестерева призывала в свидетели аудиторию, продолжая показательный спектакль, предлагая простодушной Паше Силаковой «исследовать эпоху Пушкина», и даже подталкивала ее кивками головы и «наводящими» репликами на нужное направление. И Паша вдохновенно обличала высший свет и пагубную эпоху, в которых великий поэт и мученик погряз, крыла графа Бенкендорфа, саркастически сокрушала царя, критикуя его, будто пьющего бригадира на колхозном собрании, резко и беспощадно, и заключала, что ничего другого, как «погибнуть на благородном поле брани», великому поэту и не оставалось, «интриги, придворные интриги погасили светоча русской поэзии...»

— Здорово вы их! — качала головой мадам Пестерева. — Ну что ж, давайте зачетку. Не каждый день, даже в стенах нашего института, так вот досконально анализируют поведение классиков.

Лерка, жена Сошнина (ныне, как и полагается по современной моде, они в разводе, судом еще не оформленном), училась с Пашей Силаковой в старших классах починковской школы. Узнав, что вытворяют в институте над добрейшим человеком, дед и отец которого перепахали плугом полрайона, перекопали окопов намного длиннее, чем супруги Пестеревы обошли и объехали курортных и туристических дорог, да еще ученая дама превратила девку в домработницу, освирепела.

— Это что? Это вот как? — орала Лерка — человек мало выдержанный. — Хулиганов вяжете! В вытрезвитель пьяниц тянете. А это, это что? Когда над нами, деревенскими, перестанут глумиться новоявленные аристократы?!

— Не ори ты и на бога меня не бери! Давай думать, как девку спасать?

Придумали перевести Пашу в ПТУ сельскохозяйственного направления, учиться на механизатора широкого профиля. Паша в рев: «Хочу быть ученой! Ну, пусть хоть переведут в училище дошкольного воспитания, раз я тут осилить не могу...»

Сошнин взял Пашу Силакову за руку и отвел к ректору пединститута домой, к Николаю Михайловичу Хохлакову, известному книгочею, у которого и «пасся» в библиотеке Леонид с тех времен, когда, вернувшись из заключения и не подыскав еще работу, тетя Лина стирала и убиралась в доме профессора.

Николай Михайлович по облику типичный профессор. Грузен, сед, сутул, носил просторную вельветовую блузу, не курил табак, не пил вино. Пыльными книгами до потолка забита четырехкомнатная квартира, и все это, как и рассчитывал Леонид, произвело на Пашу Силакову большое впечатление. Когда Николай Михайлович объяснил ей, что для современного ученого она слишком честна и прямодушна, да еще добавил, что сельский механизатор ныне зарабатывает больше ученого-гуманитария, Паша махнула рукой:

— Не всем ученым быть. Надо кому-то и работать. Где у вас поганое ведро? — И, задрав подол, начала мыть пол, протирать мебель, книжные шкафы в квартире недавно овдовевшего профессора, крича при этом на весь «ученый» дом: «Я! Ты! Он! Она! Вместе будет вся страна!..»

Пока не освободилось место в общежитии, Паша и жила у профессора, иногда навещала Сошнина, еще с порога хайлая возмущенно: «Ну и засвинячился ты, братец-кондратец!»

Училась Паша в ПТУ хорошо, сделалась выдающейся на всю область спортсменкой, в метании диска побила все местные рекорды, даже ездила на зональные соревнования и на Спартакиаду народов СССР, в столицу, после возвращения из которой Сошнин едва ее узнал. Перекрашенная в золотой цвет, с шапкой завитых, да и не завитых, а прямо-таки взвихренных волос, с засиненными веками, в джинсовом костюме, в сапогах «а-ля мушкетер» Боярский, явилась Паша в родные края, бурная, все сокрушающая, с цигаркой в зубах.

— Знай наших! Поминай своих! Мы, деревенские, можем вести себя похлеще лахудров с филфака.

«Э-э, — затосковал Сошнин, — этак дело пойдет — деревня лишится еще одного хорошего работника, город приобретет еще одну зазвонистую хамку». И с помощью все того же Николая Михайловича и Лерки спровадил Пашу на центральную усадьбу родного починковского колхоза «Рассвет», где она работала механизатором наравне с мужиками, вышла замуж, родила подряд трех сыновей и собиралась родить еще четверых, да не тех, которых вынают из чрева с помощью кесарева сечения и прыгают вокруг, сюсюкают: «Ах, аллергия! Ах, дистрофия! Ах, ранний хондроз...»

— Мои мужики на земле работать будут, в моря ходить, в космос летать. — И слабое существо, мать и женщина, со вздохом добавляла Паша: — А все ж хоть бы один, как Николай Михайлович, ученым сделался...

— И ты меня не увезешь. И я, наверно, не уеду. А тройка? Тройка — это ложь! И я давно не верю деду, — пробормотал Сошнин, все лежа на диване и радуясь, что поезд на Хайловск прошел, до завтра не будет туда оказии, кроме автобуса, на автобусе же трястись в такую погоду боевые раны не велят. Вот завтра или послезавтра укрепится духом и поедет к Паше в гости, может, и до тестя с тещей доберется — от Починка до Полевки рукой подать. Надо бы Лерке позвонить. Давно не звонил. Да ведь по голосу догадается, что опять что-то стряслось с человеком.

И это терпит.

Итак, на чем мы остановились? На противоречиях жизни? Почему люди бьют друг друга? Какой простой вопрос. И ответ проще простого: «Охота, вот и бьют. . .»

Начальник Хайловского райотдела УВД Алексей Демидович Ахлюстин, мыслитель и боец, говаривал: «Половина людей на земном шаре нарушают или собираются нарушить, другая половина нарушать не дает. Пока равновесие. Дальше может наступить такая ситуация, при которой нарушится баланс»...

«А Лерке все же надо позвонить. Что она там? Как? — Сошнин повернул руку с часами к свету, тускло сочащемуся из давно не мытого окна, из-за пузато вспученного «гардеропа», — полпятого. Лерка кончает работу в шесть. Пока за Светкой в садик зайдет, в магазин, туда-сюда, раньше восьми нечего и думать звонить. На работу разве? Но там же бабье! Изнывающее в белой аптеке от белого безделья, от запаха лекарств, дурманящего плоть и ум. «Твой!» — зашебутятся возбужденные бабьи умы, «денег занять хочет», «по ласкам соскучился. . .», «об ребенке родном вспомнил. . .»

«У-ух, бабы, бабы! Без вас прожить бы кабы. Во, стихи пошли! Сами собой! Как у Маяковского!»

Притягивала к себе глаз, тревожила рассудок могучая туша «гардеропа», в сутеми явственно напоминающая фигуру бессмертного Собакевича. Из-за него, из-за этого «гардеропа» супруги Сошнины разбежались в последний раз, точнее, из-за тридцати сантиметров — ровно на столько Лерка хотела отодвинуть «гардероп» от окна, чтоб больше попадало в комнату света. Хозяин, зная, как она ненавидит старую квартиру, старый дом, старую мебель, в особенности этот добродушный «гардероп», как хочет свести его со свету, стронуть, сдвинуть, тайно веруя: при передвижке он рассыплется, историческую мебелину можно будет пустить в печь, — оказал сопротивление, а сопротивление, знал он по службе, чревато «последствиями».

Мгновенный вспыхнул скандал, крик, слезы, и в такой же непогожий вечер, схватив за руку ребенка, Лерка ушла в общежитие фармацевтического института. Вторично умчалась. Как зав. аптекой, скорей всего при содействии Леонидова дружка, приятеля детства, ныне большого начальника, Володи Горячева, бедствующая мать с ребенком перебралась в дом гостиничного типа, в девятиметровую комнату, где есть все условия для жизни: туалет, мойка, кран, метла, диванчик, стол и телевизор, а он, значит, остался «на просторах», царствует в своей квартире, наслаждается свободой, и «гардероп» стоит что скала. «Стоит! И стоять будет!» — почти торжественно, как Петр Великий о России, сказал Сошнин про «гардероп».

Мысль о Лерке не угасала, наоборот, подступала ближе. Как на душе смута — она тут как тут, во, прилипчивый человек! Баба! Жена. Крест. Хомут на шее. Обруч. Гиря. Канитель земная.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Город Хайловск, куда направили работать Сошнина после окончания спецшколы — типичный, в общем-то, райцентр на пятнадцать тысяч голов населения, довольно спокойного, в основном сельского. Промышленность здесь была лесная, кудельная и сельскохозяйственная. Беспокоил порой и будоражил городок, стоявший на отшибе, текстильный техникум да межзональный дом отдыха лесозаготовительной отрасли. Иногда, очень редко, Хайловск сотрясали отзвуки современного прогресса. Сотрясения катились в основном по железной дороге, подле которой ютилась небольшая, с дореволюционным деревянным вокзалом станция Хайловск, о восьми путях, в любое время года забитых вагонами, груженными круглым лесом, доской и брусом — продукцией местного леспромхоза.

Но вот зачастили в Хайловск важные чины. Сперва небольшие, сдержанные, немногословные, потом покрупней, посолидней, еще более сдержанные. Дело кончилось тем, что на восьмой путь было поставлено несколько вагонов, в которых жила трудовая солдатня с лейтенантом во главе. За три с небольшим месяца боевой отряд отгрохал в центре Хайловска двухэтажную гостиницу — повеселил городишко — и, оставив двух-трех вдовушек в безутешном горе, отбыл в неизвестном направлении.

Гостиницу долгое время населяли отпускники и командированные. Как-то в Хайловск нагрянул уроженец здешних мест, видный конструктор, у него автомат был излажен в виде многозарядной автоматической зенитки, прозванной фронтовиками «дай-дай». И от этой зенитки — как ты ни летай, как ни бегай — никуда не улетишь и не убежишь.

И вот в новой-то гостинице суждено было Сошнину прославиться на весь Хайловск и окружающие окрестности. Жители Хайловска существовали в своих домах, гости их и родственники, приезжая в отпуск, жили там же. Гостиничные номера заселял богатенький, разбитной уполномоченный, нацеленный на хайловскую лесопродукцию, солнечной летней порой ревизор из Минлесхоза или из Сельхозмеханизации, дитя кавказских гор с дарами солнечного, плодородного юга: помидорами, цветами, фруктами — осчастливливал здешний рынок, заросший крапивой и бодягом, куражливый журналист местной прессы сотрясал телефоны «люкса», собирая материал по передовому опыту переработки льна и использования лесоотходов; поэты и художники налетали чаще всего артельно. Кое-как рассчитывались за гостиницу, начертав благодарность в гостиничной книге «жалоб и предложений», украсив ее забавными рисунками,

мыслители тихо исчезали, а после них уборщицы находили под кроватями шариковые ручки, блокноты, исписанные столбиками стихов, случалось, удостоверения и личные документы находили.

Наступил еще один новый этап, жизнь сделала еще один виток, и в гостинице завертелись «химики». Началась картежная игра: «гадалки», «пулеметы», «библия», «колотушки», «альянцы», «сонники», «стирки» — как только карты не называли. Зазвенели гитары, взвизгнули в ночи женщины, заскорготали зубы, послышался лязг битого стекла и кинжальный звон. «Кабел. Демон. Угол. Индия. Бал. Играть на рояле. Чмок-шпок! Гладенько. Задок. Залепить хаверу. Чос. Бацилльный. Духовой. Ежик. Кучер. Шнифер» — слова-то, слова-то все какие! Музыка! Зарешеточная, на тюремных нарах сотворенная словесная продукция пугала тихий, за лесами, за болотами живущий хайловский люд.

Но вот явился в Хайловск Демон! В соседней области прибил ломом инкассатора, «взял на хомут» — так это называется — сорок тысяч «рваных» и пистолет. «Вооружен и очень опасен» — как раз в ту пору шла кинокартина с таким названием в Доме культуры работников леса.

Сошнин не от картины, нет, скорее от физического и душевного застоя, заранее дрожа и подобравшись, решил: «Возьму! Когда еще в Хайловск пожалует Демон. Настоящий!»

По телефону из областного уголовного розыска приказывали до приезда оперативной группы ничего не предпринимать, но с преступника глаз не сводить. Но Демон, «печальный Демон — дух изгнанья» — вдруг в небеса вознесется!..

Тонкую операцию замыслил Сошнин. Как раз на город Хайловск хлынула спортивная орда. Дом отдыха, общежитие техникума, гостиница забиты под завязку. Городок цветет синими штанами, шапочками с иностранными буквами и знаками. Соревнования, эстафеты, шум, многолюдство — очень это важный фактор! Пригласив двух дружинников из леспромхоза, Сошнин переоделся в гражданское и во время обеда «подселился» с раскладушкой в номер грабителя. И когда злодей пришел и, увидев постороннего человека, напрягся и начал бледнеть — не давая ему ни минуту на раздумья, молодой детектив, читавший книжку технического толка — для маскировки такую книжку подобрал, соскочив с раскладушки, представился:

— Инженер Зверев. — И фамилия-то, фамилия вмиг, кстати подходящая явилась. — Все места в гостинице заняты. Физкультура и спорт. Всегда готов. Извините. Подселили... — И как только в протянутой руке ощутил руку Демона, зажал ее, вывернул, и... бандит и ахнуть не успел, как на него мильтон насел!..

Седой начальник уголовного розыска объяснил Сошнину всю его глупость — милиционера малого городишка собаки и те не только в лицо, но и на нюх знают! «Самбист. Бывший чемпион спецшколы по боксу!» — «А откуда тебе известно, что Демон — не чемпион страны по вольной борьбе? Может, по всем видам спорта чемпион, включая фигурное катание?! Ты изучал его биографию? Силу? Реакцию? Гастролер он, матерый кучер или портяночник? Баклан? Тумак? А если б матерый? Да он бы тебя разделал, как киевский мясник! И собирали бы тебя по частям, чтоб прилично выглядел в гробу...»

Но как бы там ни было, народ-то узнал о «подвиге», и выходило, что не начинающего гастролера скрутил Сошнин, брал он двоих опытных убийц, и были у них не пистолеты, по автомату было, и одного бандита Сошнин известным лишь ему приемом выбросил в окошко со второго этажа, чтоб не путался под ногами, со вторым-то ему и труда не составляло управиться!..

На вокзале, да и на улицах Хайловска слышал герой-детектив вослед: «Тот самый!» И не только из техникума, даже приезжие девчата начали глядеть на него с пристальной заинтересованностью и что-то выдающееся находили в его облике, потому как норовили спросить именно у него про расписание поездов и автобусов, когда буфет откроется, какая будет завтра погода, придавая голосу воркованье, заводя глаза под зачерненные ресницы.

Сошнин звонил и писал в Вейск, просил устно и письменно перевести его куда-нибудь, желательно подальше от Хайловска. Ему обещали «подумать», но тут нанесло на младого героя не менее жуткую, чем вооруженный бандит, опасность.

Дожив до двадцати двух лет, Лерка ни с одним еще парнем не дружила — она отпугивала кавалеров высокомерным видом и какой-то сверхтехнической оснащенностью тела. Скуластенькая, вся в локтях, в коленях, в лице, в руках, в ногах, в груди, даже вроде бы и в заду у нее были колени и локти, и все это заведенно двигалось, стремительно, выразительно, даже и нахраписто, все вертелось, в таком даже месте, где у других людей вертеться нечему. Говорила Лерка резко, точно, кратко; на мир глядела так, будто все в нем уже давно не только знала, но и прошла еще в школе и ничего в этом мире никакого ее внимания не заслуживает. При всем при этом Лерка была кокетлива, ходила «на тырлах», как говорят блатняки, ручки полусогнутые, словно у заводной куколки, навьючивала немыслимые прически, натягивала какие-то сверхмодные платья, косынки, пилотки, шляпки, в последнее время — тугие, узкие джинсы и гарибальдийскую пышную косынку, узлом схваченную на горле. Хайловские кавалеры прозвали Лерку «примадонной» и прохаживались по перрону в «ее стиле», вертя всем, что у кого может вертеться, но близко к Лерке не подступали — и без нее хватало «кадров».

Практическое внимание на Лерку обратили «химики», приняв ее за халяву. Лерка училась в Вейске на фармацевта, на выходные приезжала к родителям, в сельцо Полевку — это двадцать километров от Хайловска, в девяти верстах от Починка — центральной усадьбы колхоза, и, когда дожидалась автобуса в родные края, «химики» откололи ее от публики, подпятили к забору и между киоском «Союзпечати» и филиалом леспромхозовской столовой давай снимать с нее штаны. Штаны-то джинсы, их не так-то просто

и по доброй воле сдернуть, а при сопротивлении время и сноровка надобны. Сошнин как раз приехал с лесоучастка, где всю ночь усмирял лесорубов после получки. Выйдя из поезда, отбил барышню, увел ее в дежурную комнату, где ее долго отпаивали водой.

— Люди на остановке! Советские, наши, здешние — и никто-никто не заступается! Подлые!.. Подлые!.. Все подлые! — в истерике кричала Лерка.

Конечно, подлые. Кто ж станет отрицать или спорить? И люди на остановке, и «химики» — это уж само собою. Но вот автобус на Починок ушел и будет только завтра утром. Что делать?

Бессонная ночь, слава богу, позади, он расслабился — молодой организм отдыха просит. Спать хочется — спасенья нет. Сотрудник ЛОМа Брюзгин удалит барышню из дежурки, потому как жена у него сто кило весом, ревности же в ней на все двести, проверяет преданность мужа через каждый час. В вокзале по скамейкам валяются друзья «химиков» или на них похожие кореша, раздумывая насчет условий вербовки: соглашаться им в Хайловский леспромхоз или в глубь страны подаваться. Пожалел Сошнин Лерку, пригласил ее к себе, в холостяцкую комнату, выделенную молодому сотруднику милиции в леспромхозовском общежитии. Он бросил шинель на пол, в голова свернул казенный бушлат, укрылся плащом, указал барышне на казенную кровать с пружинами, звенящими что арфа, и только донес голову до изголовья — канул в непробудное, сладкое царство.

И не возвращаться бы ему из того, все утишающего, блаженного, царства в вечно жужжащее общежитие, в узенькую комнату с казенной желтой занавеской на окне, отмеченной черной, жирной инвентаризационной печатью, с казенной кроватью, накрытой простыней, тоже с печатью, с чайником без крышки и без печати, с эмалированной кружкой, с гнутыми столовскими вилками, с чемоданчиком в углу и стопкой книжек на подоконнике.

Он продрал глаза и с удивлением увидел: на казенной койке, звучащей, как арфа, скатившись головой с плоской, отходами кудели набитой подушки, спала барышня, совсем не похожая на ту, каковую она изображала из себя на людях. Она ровно дышала чуть приоткрытым алым ртом, и что-то совсем далекое от грубой действительности снилось ей, верхнюю губу, помеченную пушком, трогала летучая, даже мечтательная, улыбка, чуть вздрагивали сомкнутые ресницы, румянец облил щеки, и не суетились руки-ноги барышни, ничего не суетилось, не дрыгалось, все было подвялено, усмирено доверительно-глубоким сном. Солнце, в радостном ослеплении пялящееся сквозь занавески на спящую девушку, поигрывало, дразнилось, щекотало спящего человека. Форсистые джинсы Лерка сняла — кочегарили, не жалея лесоотходов, по-зимнему, хотя стояла осенняя пора, исход бабьего лета был, девушке сделалось жарко от солнца и сыро шипящих батарей отопления, она сбросила пальтишко на пол, колени ее приоголились и оказались совсем не острые, не задиристые, а круглые, чисто белеющие натянутой кожей, и пятнышко солнца ластилось, скакало котенком по коленям гостьи.

Сошнин замахнулся, чтобы прикрыть гостью одежкой, и в этот роковой момент дернуло ее проснуться. Она с виноватым испугом осмотрелась. «Где я?» — и тут же вспомнила где, улыбнулась, утерла губы, в забытьи потянулась:

— Крепко спится под защитой родной милиции! — И потрепала его русые, вчера только в леспромхозовской бане с шампунем вымытые волосы. — Шелковые! — сказала голосом, вдруг упавшим до всхлипа.

Что можно ждать от хорошо отдохнувших молодых людей! Одних только глупостей, и ничего больше.

И стала Лерка все чаще и чаще задерживаться меж городом и селом, осуществляя смычку в буквальном смысле этого неблагозвучного слова. Дело дошло до погубления выходных — неинтересно сделалось Лерке проводить воскресные дни в родной полуопустевшей Полевке, под родительским кровом. Дело кончилось тем, чем оно и должно кончаться в подобной ситуации, — явились молодые люди в Полевке, созревшие для добровольного признания, с повинной. Как лицо служебное, милицейское, Сошнин привык знакомиться с разным народом, чаще всего тут же забывая знакомства, но в Полевке дела обстояли иначе. Евстолия Сергеевна Чащина подкрасила губы, надела новый строгий костюм в полоску, капроновые чулки и туфли анисового цвета. Сошнин думал, в честь какого-то праздника, может, дня рождения чьего-то, выяснилось же — в честь их приезда. Улучив момент, Евстолия Сергеевна увела гостя в огород, показывать, какие у них парники, ульи, какая баня, колодец, и там напрямик заявила: «Я надеюсь, мы, интеллигентные люди, поймем друг друга...»

Сошнин заозирался, отыскивая по огороду интеллигентных людей, — их нигде не было — и начал догадываться, что это он, Леонид Викентьевич Сошнин, и Евстолия Сергеевна Чащина и есть интеллигентные люди. Очень его всегда смущало это слово. На деревенском же огороде, в полуразвалившемся селе — просто ошарашило. Он заказал себе: медовуху, как бы его ни принуждали, больше не пить и при первом удобном моменте из Полевки умчаться на милицейском мотоцикле.

Евстолия Сергеевна испуг гостя истолковала посвоему и уже без ласковых оттенков в голосе, безо всякой бабьей вкрадчивости поперла насчет того, что дочь у нее — человек исключительный, что уготована была ей более важная дорога и ответственная судьба, но коли так получилось: он проявил такое благородство, и вообще человек, по слухам, героический, — она вверяет ему...

— Зачем же здесь-то? — залепетал «героический человек». — Я готов... При Маркеле Тихоновиче...

— А он-то тут при чем?! — изумилась Евстолия Сергеевна. — Содержим его, пусть и на том спасибо говорит.

Вслушаться бы, вслушаться во все ухо в эту непреклонно выраженную мысль, внять ей, а внявши, перемахнуть бы Леониду через городьбу, ухватиться за рога казенного мотоцикла — черт с ней, с фураж-

кой! Сказать, что сдуло, — новую выпишут. Но это тебе не Демона валить! Там все просто: хрясь злодея об пол — и ваша не пляшет! А тут он, как бычок на веревочке, плелся с огорода за Евстолией Сергеевной, потом стоял подле жарко натопленной глинобитной печи, вертел в руках нарядный милицейский картуз: «Вот, просю, стало быть... Ой, прошу тоись, руки... — хотел пошутить: — И ноги тоже!» — а сам все вертел и вертел картуз с горьким чувством человека, приговоренного к лишению свободы на неопределенный срок и без права на помилование... единого милицейского головного убора не успев износить. Чего доброго, еще и икону ко лбу приставят! И заступиться некому: ни отца, ни матери, даже тетки нет — круглый он сирота, и что хотят, то с ним и делают...

Властвовала в доме Чащиных Евстолия Сергеевна. Судя по карточкам, газетным вырезкам и рассказам, прожила она довольно бурную молодость: ездила в сельском агитпоезде, в красной косыночке, тревожила земляков не только речами, за «перегиб» была брошена на хайловскую кудельную фабрику, даже фабричонку, в качестве профсоюзника, но по очередному призыву вернулась на прорыв в родное село, ведала избой-читальней, клубом, было время, когда ее бросали даже на колхоз — председателем. Но к той поре работать она совсем разучилась, да и не хотела, и ее все время держали на должностях, где можно и нужно много говорить, учить, советовать, бороться, но ничего при этом не делать.

Безответный, добрейший тесть Сошнина Маркел Тихонович Чащин потянулся к зятю, как те родители, что потеряли ребенка в блокаду и, пусть в зрелом возрасте, отыскали его. Все, что мог и хотел дать сыну Маркел Тихонович: любовь, тепло сердца, навыки в сельском, глазу не заметном труде, ремесла, так необходимые в хозяйстве, — все-все готов был тесть обрушить на зятя. И Леонид, не помнивший отца, взращенный пусть и в здоровом, но в женском коллективе, всем сердцем откликнулся на родительский зов. И какая же просветленная душа открылась ему, какой истовой, мужской привязанностью вознаградила его судьба!

Сошнин именовал тестя папашей. Маркел Тихонович имел от этого в душе торжество, потому как тещу зять звал только по имени-отчеству. «Они», «она», «эти», «сама», «их» — это лишь краткий перечень междометий, с помощью которых Маркел Тихонович обращался со своими домашними, называть жену и дочь собственными именами он избегал, длинно получалось, тем более что у дочери было имя «не его», он желал назвать ее Евдокией, в честь своей бабушки, но жена, взбесившаяся от культуры, нарекла ее Валерией — вот и пользуй его, такое имя, каким только корову или козу можно называть.

Евстолию Сергеевну за суету, табак и матерщину не терпели пчелы — Маркел Тихонович держал три семьи — для домашности. И стоило жене выйти в огород, в углу которого под дуплистыми липами стояли ульи, он тут же отворял леток, и пчелы загоняли хозяйку либо в нужник, либо в сенцы. В бане Маркел Тихонович мылся один, не пускал супругу на покос — истопчет, измочит сено, корова исти его не станет, пилил дрова в одиночку, не слушал жену, когда она жаловалась на хвори, смотрел по телевизору «развратные», по разумению Евстолии Сергеевны, передачи: фигурное катание и балет — и, как можно было догадаться, давно не выполнял мужских обязанностей. Уязвленная супруга следила за ним и будто уже не раз «застукала» старого блудника, который с другими бабами «делал, че хотел».

— У меня из рук, Левонид, ниче не выпадат, меня тятя, царство ему небесное, с детства всякой работе обучил, потому как в деревне без рукомесла нельзя, рукам махать и речи говорить — трибунов на всех не наберешься! На войне, в раздорожье, кому обутку починю, кому бритву направлю, повозку подлатаю, колеса обсоюзю, втулку там, ось, оглоблю вытешу, лопату насажу и наточу, сварить че — суп, кашу, картошки, коня обиходить, сруб в землянке сделать, дзот покрыть — все мне по руке. На фронте, Левонид, сло́ва ниче не стоят, потому как на краю ты жизни. Хоть верь, хоть нет, Левонид, меня Тихоновичем в роте звали, не из-за старости, не-эт, — я в самой середке мушшинских годов был, исключительно звали из уважительности, медаль мне первому в роте дадена была, когда медали ишшо мешком на передовую не возили... И вопше, маракую я, Левонид, нашей державе честные трудовые люди нужны, а не говоруны и баре. Пустобрехи, вроде моей бабы, проорали деревню. Война и пустобрехи довели до того, что села наши и пашни опустели.

Почувствовав союз двух мужчин куда прочнее женского, Евстолия Сергеевна пошла на них приступом, но зять оказался неуступчив, защищал себя и тестя:

— Евстолия Сергеевна! Все претензии, какие есть ко мне и к папаше, высказывайте не в магазине, не на завалинке, а здесь, дома, и больше при мне не унижайте папашу, не сгоняйте его в могилу — без него вы пропадете ровно через неделю...

— Кто это — вы? Кто это — вы? — взвилась Лерка.

— Ты и твоя мама.

— А ты зачем? Ты — муж!

— И я, муж, и вы, жены, пока еще сидим на шее у папаши, да скоро и внука туда посадим.

Мужики уединялись в лесу, пилили весной долготье на дрова, вывозили его, на сенокосе управлялись, в межсезонье на реке сидели, подле удочек и закидушек, либо верши ставили на перекате и в заливах.

— Да что же это такое! Все при деле, мои жеребцы сидят — реку караулят! — базлала на весь белый свет Чащиха, спускаясь вдоль ограды к реке с детским ведерком — взрослое ведро она якобы не могла уже поднимать.

Маркел Тихонович из наносного хламу выбрал палку, попримерил ее к руке, молча двинулся навстре-

чу супруге и вытянул ее по широкой спине, да так звучно, что вся округа замерла, будто перед концом света: коровы на лугу перестали жевать траву, овечки затопотили, давя друг дружку, бросились врассыпную; спутанный колхозный конишко, с потертостями и лишаями на спине, припал к воде, хотя пить ему не хотелось, — ничего не вижу, ничего не слышу — опытный конь.

Чащиха, ровно бы вслушиваясь в себя, в мир, ее окружающий, схватила ртом раз-другой воздух и вопросила:

— Убил? Меня-а-а-а убил... — и только собралась заорать, как Маркел Тихонович вытянул ее палкой вторично.

— Я четырежды ранетый. Я в гвардии пехоте фашиста бил! У меня десять наград в яшшике! А ты меня при зяте страмотишь!.. — хоп да хоп Чащиху по спине.

— Милиция!

Сошнин в это время подлещика подсек, повел его, сердечного, к берегу — милиция он на службе, а тут зять и рыбак и тоже, как и все советские люди и граждане, имеет право не только на труд, но и на отдых — по Конституции.

Председатель поссовета, старый фронтовик, заранее и во всем солидарный со всеми фронтовиками, получив от Евстолии Сергеевны заявление-акт на своего супруга и бегло с ним ознакомившись, заявил:

— Дивно, как твой муж тебя до се не пришиб? Я бы в первую же ночь супружеской жизни прикончил такую фрукту и в тюрьму бы добровольно отправился.

Дитя, всеми любимое и единственное, Светка какое-то время соединяла семью, да худо Лерка обихаживала дитя, и себя, и мужа — деревенская девка, ничему не наученная пустобрешной мамой, не умела она сварить пустую похлебку, каша манная для ребенка у нее непременно в комках, стирает — брызги на стены, моет пол — лужи посередке, под кроватью пыль, зато травила анекдоты наисмешнейшие, подвизалась в институтской самодеятельности, Маяковского со сцены кричала.

Пока тетя Лина жила да была, от мерзостей быта Лерку избавляла, и с воспитанием ребенка дело шло вперед, хотя и дергалась эмансипированная женщина, не нравилось ей, что тетка наряжает Светку по-деревенски, в капоры, в грубые шерстяные носки собственной вязки, купает в корыте стиральном, стрижет наголо, чтоб волосики крепче были, кормит капустными щами с картошкой. Если уж ее жизнь загублена неразумной связью до брака, так пусть вырастет хоть дитя исключительной личностью, похожей на вундеркиндов Сыроквасовой — чтоб премиями награждалась за рисунки, хоть за хоровое пение, хоть за гимнастические упражнения, чтоб про дочь в газете писали и по радио говорили.

Муж толковал жене: «Медицина утверждает, что здоровье дороже всего, так давай сохраним ребенку хотя бы здоровье». — «Как мы это сделаем?» — «Это сделает тетя Лина. Гляди на меня и убеждайся, что она это умеет делать хорошо. Нет у меня ни аллергии, ни пневмонии, даже зубы не болят». — «Бугай. И жизнь твоя бугайная!..»

Жизнь разнообразна, где найдешь, где потеряешь — угадай наперед! Помылись однажды в городской бане супруги Сошнины, сомлелые, душой и телом чистые, благодушные, решили на рынок зайти, изюмчику Светке купить, себе — вятских огурчиков из дубовой бочки. Леонид локоть кренделем загнул, супруга руку в кожаной перчатке ему на согнутый локоть кинула. Идут, толкуют. Счастливые советские люди, в воскресный день наслаждаются заслуженным отдыхом, на людей дружелюбно смотрят, и не видит потерявший бдительность сотрудник местной милиции, что под аркой городского базара, где написано «Добро пожаловать», пляшет, поет, ко всем липнет пьяная Урна. Губы у нее обляпаны красным, волосы — рыжим, наплывы рыжей краски видно за ушами и на лбу. Злобно-веселая, тешится Урна, развлекает народ бесплатно. У Сошнина, как только он заметил Урну, не только в груди, но и в животе все сжалось — случалось ему эту красотку вынать из «постелей» в привокзальных заулках, возить в вытрезвитель, когда ее еще в вытрезвитель пускали, гонять с рынка, выселять из города.

Урна — тварь злопамятная, мстительная. Она-то еще задаль заметила супружескую пару.

— А-а, синеглазенький! — приветствовала Урна молодого человека, будто и не замечая рядом с ним Лерку. — Забы-ы-ыл ты про меня! Совсем забыл! На ентую вот вертихвостку променял! Ай-я-я-а-ай! Изменшыки вы, мушшыны, коварные изменшыки! — Отрыгая на Лерку табаком и винищем, пожалобилась: — Не помнят добра, злодеи! — И, ощерив остатки зубов, коричневых, гнилых, пропела на мотив «Мы на лодочке катались»: «Я, быва-а-ало...»

Лерка выдернула руку из-под мужниного локтя, уронила перчатку и побежала с рынка, закрывшись ладонью.

— Оне к Муське, на кирпичный завод повадились! — орала Урна ей вослед. — Гляди-ы-ы! Принесет он те награду!..

Дома бурная сцена, закончившаяся схваткой.

— Подлец! — кричала жена. — Какой подлец! — и хрясь мужа по морде.

Он перехватил руку жены болевым приемом, посадил ее на пол.

— Еще раз... шевельни только лапкой!.. Примадонна!..

— О-ой, руку вывихнул, зверина!

— Да ребятки! Да миленькие!.. Да что случилось? — топталась вокруг них тетя Лина.

После смерти тети Лины супруги Сошнины все чаще сбывали Светку в Полевку, на бабкин худой досмотр и неумелое попечение. Хорошо, что кроме бабки был у дитяти дедка, он мучить культурой ребенка не давал, приучал внучку не бояться пчелок, дымить на них из баночки, различать цветки и травы, подби-

рать щепки, скрести сено грабельками, пасти теленка, выбирать из куриных гнезд яйца, водил внучку по грибы, по ягоды, гряды полоть, с ведерком по воду ходить на речку, зимой снежок огребать, подметать в ограде, на салазках с горы кататься, с живой собакой играть, кошку гладить, гераньки на окне поливать.

Пустота после смерти тети Лины ничем не могла заполниться, но должна же она, по законам физики, чем-то заполняться. Раздражение и темная тоска заселяли пустоту, в темноте же самое место черному злу. Все в жене раздражало Сошнина, даже такие мелочи, как кухонные дела, на которые мужчине и внимания-то обращать не надо бы, или обратить их в шутку, ведь за чувство юмора и терпимость, воспитанные тетками — Линой и Граней, его ценили в школе, на работе — у него иных-то добродетелей и не было.

А Лерку корежило, бесило, что такое ничтожество, выкормыш пристанционного, сажей покрытого поселка, читает дни и ночи книги, еще на немецком языке вроде бы могет — брешет, конечно, да и сам чего-то тайком царапает на бумаге. «Экий Лев Толстой с семизарядным пистолетом, со ржавыми наручниками за поясом. . .» — «Замолчи, примадонна!» — «Мусор! Легаш! Пес! Падло! И как еще там, на языке ваших дорогих клиентов?»

Злой памятью, как и многих современных женщин, природа Лерку не обидела. Литература утверждает: прекрасная женщина частицами разбросана во многих женщинах, плохая и хитрая живет постоянно во всех. Ох уж эта литература! То соврет, то правду скажет. Подсказала бы вот людям, куда же это прекрасное, которого так много в девушках, девается в бабах?

И хорошо, и правильно, что разбежались. Нечего маять друг друга. Наслаждайся покоем, читай, пей чай из горлышка чайника, не давай «гардероп» с места двигать. Можно никуда не ходить, никого к себе не приглашать. Можно пол мыть, можно не мыть. Можно еду варить, можно не варить. Можно ходить по полу босиком и гладить себя по голове, можно бумагу ночами каракулями украшать, не озираясь, никого не стыдясь. Творческая тайна! Да какая же это зараза! Так вот и шевелится что-то в голове, процарапывает крышку черепа мыслишками, они спать не дают, тревожат. Пользуясь полной бесконтрольностью и волей, однажды Леонид поставил на бумаге слово «Рассказ». Сперва испугался: ведь вывел то же самое слово, что и Чехов, и Толстой, потом попривык. Примадонна глумилась, а он совершил грех, и сладко-сладко его сердцу стало. И боязно, и тревожно. Почти так же боязно, как тогда, когда Лавря-казак бросил его, десятилетнего, в речку Вейку и сказал: «Хочешь жить — выплывешь. . .»

В муках, в тайной творческой работе отвык бы он от Лерки, она от него, в мире прибавилось бы одной несложившейся семьей и одним ребенком-безотцовщиной больше. Но тогда-то вот, после разбега, и подстерегло его несчастье.

В Лерке не все было от мамы. Где-то, пусть и сбоку, пусть снаружи, к ребрам пусть, прилепились гены отца, а гены Сошнину всегда воображались разваренной лапшой из леспромхозовской столовки. В лапше той, опять же как мясо в столовском супе, жилка говяжья с воробьиный помет величиной, оставленная борющимися со злоупотреблениями работниками пищеблока, путалось веками на Руси крепленное, всеми способами насаждаемое правило: не бросать человека в беде, и, пока есть на свете Маркелы Тихоновичи Чащины, правилу тому быть и нацию нашу крепить — Лерка выявила ошеломляющую самоотверженность: сперва потрясенно пялилась на мужа, потом хлопотала, роняя и разбивая что-то. Когда Гришуха Перетягин пришил ему ногу и Леонид проблевался, очухался настолько, чтоб хоть маленько что-то соображать, Лерка, прежде чем напоить его водой и бульоном, ультиматум ему: «Из милиции — на творческую работу». — «А кормить кто нас будет?» — «Я! — без промедления гаркнула самоотверженная Лерка. — Я! Родители наши! Сиди возле своего любимого папаши и твори. Картошки от пуза, мясо, молоко есть, что еще писателю нужно?»

Он оценил ее жертвы и в себе обнаружил ответную способность прощать — неужто и впрямь несчастье сделалось лучшим средством самовоспитания? Он и она простили друг друга, помирились, но из милиции Леонид не ушел, отшутился, как всегда, мол, если все уйдут на другую работу, пусть даже и на творческую, «химики» и за киоски не станут прятаться, на свету, принародно станут с людей штаны снимать.

И вот снова крыша седьмого дома в железнодорожном поселке, назначенного к сносу, но, слава богу, забытого среди великомасштабных строек, укрыла молодого художника слова от дождей и бурь. В таких вот домах только и прятаться от бурь и от жен, эгоистично надеясь: не так скоро наступит пора, когда старую квартиру надо будет менять на новую и переселять в нее Лерку с дочерью, аннулируя хотя бы часть задолженности перед семьей.

В часы и дни, особенно смутные, читал он одну и ту же книжку, подаренную ему профессором Хохлаковым Николаем Михайловичем, читал, как Библию, с любого места: протянул руку, достал с полки книгу, открыл и. . .

«Увы! Мои глаза лишились единственного света, дававшего им жизнь, у них остались одни лишь слезы, и я пользовалась ими для той единой цели, чтобы плакать не переставая, с тех пор, как я узнала, что вы решились, наконец, на разлуку, столь для меня не переносимую, что она в недолгий срок приведет меня к могиле».

«Во люди жили, а?!» — почесал затылок Сошнин, когда первый раз читал эту книгу.

«Я противилась возвращению к жизни, которую должна потерять ради вас, раз я не могу сохранить ее для вас. Я тешила себя сознанием, что умираю от любви. . .»

Тут уж он перестал чесать затылок в задумчивости и от озадаченности погладил сам себя по голове и почувствовал, что письма монашки к своему возлюбленному втягивают его в какую-то уж чересчур непривычную, но в то же время чем-то манящую, томительно-сладкую муку. Он передернул плечами, стряхивая с себя наваждение вкрадчивой сказочки, настраиваясь внутренне сопротивляться ахинее, на которую покупался он в детстве... Но ныне-то... Он человек современный, грубошерстный, крепленный костью и жилами, работой в органах, отнюдь не смиренные, монашеские требы справляющий нощно и денно, он Урну в кутузку волочил, Демона обезвредил, пусть и неопытного; его писчебумажными штучками-дрючками не проймешь, он пусть изначально, пусть чуть-чуть, но и секреты слова познал, соприкоснулся, так сказать, с...

«...Могу ли я быть хоть когда-нибудь свободной от страдания, пока я не увижу вас. Что же? Не это ли награда, которую вы даруете мне за то, что я люблю вас так нежно. Но, будь что будет, я решилась обожать вас всю жизнь и никогда ни с кем не видеться, и я заверяю вас, что и вы хорошо поступите, если никого не полюбите... Прощайте. Любите меня всегда и заставьте меня выстрадать еще больше мук».

Сдаваясь все покоряющей воле или произволу слова, наслаждаясь, вот именно наслаждаясь музыкой, созданной с помощью слова, такого наивного, такого беззащитного, он полностью доверился этой детской болтовне и впервые, быть может, пусть и отдаленно, осознал, что словотворчество есть тайна.

Книжка состояла из пяти писем, дальше шли чьи-то дополнения, ответы на письма, подражания, стихотворные переложения, обширные комментарии. У него хватило ума не заглядывать в «зады» книги, не гасить в душе той музыки, которая не то чтобы ошеломила или обрадовала его, она подняла его над землею, над этим слишком грохочущим, слишком ревущим современным миром. Ему было не то чтобы стыдно, ему было неловко в себе, неудобно, тесно, что-то сдвинулось в нем с места, выперло вроде «гардеропа», и, куда ни сунься, непременно мыслью иль штанами за него зацепишься. Одна фраза трепетала, пульсировала, билась и билась жилкой на слабом детском виске: «Но как можете вы быть счастливы, если у вас благородное сердце?»

Бывшего «опера» порой охватывало подобие боязни или чего-то такого, что заставляло обмирать спиной, испуганно озираться, и во сне или наяву зрело твердое решение: пойти отыскать французика, покинувшего самую в мире замечательную женщину, по-милицейски грубо взять его за шкирку, приволочь в монастырскую тихую келью и ткнуть носом в теплые колени женщины — цени, душа ветреная, то, по сравнению с чем все остальное в мире — пыль, хлам, дешевка.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Светка — хлипкое, современное дитя, подверженное простудам и аллергиям, — заболела с приходом холодов. В деревне, на дикой воле, не утесненное детсадовскими тетями и распорядками дня, укреплялось дитя физически и забывало застольные церемонии, рисунки, стишки, танцы. Дитя резвилось на улице, играло с собачонками, дралось с ребятишками, делалось толстомордое, пело бравую бабушкину песню: «Эй, комроты, даешь пулеметы! Даешь батарею, чтобы было веселее...»

И вот снова, к тихой радости деда, к бурному и бестолковому восторгу бабки, прибыла болезная внучка в село Полевка. Молодой папуля устал за дорогу от вопросов дитяти, от дум и печалей земных, да еще ногу натрудил крепко: автобус далее Починка не пошел — механизаторы во время уборочной совсем испортили дорогу в глухие деревни, никто туда не ездил, да и не шел, по правде-то сказать. Когда Сошнин со Светкой шлепал по грязи, меж редких домов, просевших хребтом крыш по Полевке, к рамам липли старушечьи лица, похожие на завядшие капустные листья, — кто идет? Уж не космонавт ли с неба упал?

Поевши картошек с молоком, Сошнин, прежде чем забраться на печку — поспать и подаваться пехом в Починок, а из него в незабвенный Хайловск и потом на электричке домой, был вынужден выслушать все здешние новости и прочесть поданную тещей бумагу под названием «Заявление-акт»:

«Товарищ милиционер, Сошнин Леонид Викентьевич! Как все нас, сирот, спокинули и нет нам ни от кого никакой защиты, то прошу помощи. Вениамин Фомин вернулся из заключения в село Тугожилино и обложил пять деревень налогом, а меня, Арину Тимофеевну Тарынчеву, застращал топором, ножом и всем вострым, заставил с им спать, по-научному — сожительствовать. Мне 50 (пятьдесят) годов, ему 27 (двадцать семь). Вот и посудите, каково мне, изработанной, в колхозе надсаженной, да у меня еще две козы и четыре овечки, да кошка и собака Рекс — всех напои, накорми. Он меня вынуждает написать об ем, что, как пришел он ко мне в дом — никакого дохода нет от него, одни расходы, живет на моем иждивенье, на работу не стремится, мало, что пьет сам, на дороге чепляет товаришшев и поит. Со мной устраивает скандалы, стращает всяко и даже удавить. Я обряжаю колхозных телят, надо отдых, а он не дает спокой, все пьянствует. Убирайте ево от меня, надоел хуже горькой редьки, везите куда угодно, хоть в ЛТПу, хоть обратно в колонию — он туда только и принадлежит. Раньше, до меня, так же дикаснлся, засудили ево за фулюганство, мать померла, жена скрылася, но все ли я еще скрывала — доскрывалася, хватит! Все кости и жилы больные, и сама с им больная, от греха недосуг пить-есть, а он ревнует, все преследует и презирает. А чево ревновать, когда кожа да кости и пятьдесят годов вдобавок. В колхозе роблю с пятнадцати годов. Всю ночь дикасится, лежит на кровати, бубнит чево-то, зубами скоргочет, тюремские песни поет, свет зазря жгет. По четыре рубля с копейками за месяц за свет плачу. Государственную энергию не берегет, среди ночи вскочит, заорет нестатным голосом и за мной! По три-четыре раза за ночь бегу из дому, болтаюсь по деревне. Все спят.

Куда притулиться. Захожу в квартиру и стою наготове, не раздевшись — готовлюсь на убег. И об этом никто, даже суседи не знают, что у нас все ночи напролет такая распутная жизнь идет. И вас прошу меня не выдавать — еще зарубит. И примите меры, потихоньку увезите его подальше. Людоед он и кровопивец! Деревни грабит, женщин забижает.

Надоумила к вам обратиться ваша мамаша, Евстолия Сергеевна Чащина, дай ей бог здоровья, и писала под мою диктовку она — у меня руки трясутся и грамота мала».

Это был не первый и не единственный случай в обезлюдевших селеньях. Забравшийся в полупустые бабьи деревни бандюга обирал и терроризировал беспомощных селян. Принимались меры, забулдыг выселяли или снова садили в тюрьму, но на месте «павшего» являлся новый «герой», и, пока-то дойдет до милиции такое вот «заявление-акт» или будет услышан бабий вопль, глядишь, убийство, пожар или грабеж.

Евстолия Сергеевна дополнительно к «акту» сообщила, что за рекой, в деревне Грибково, оставались еще две старушки и деревня светилась окошком, дышала живым дымом. В одной избе жила упрямая старуха, не желающая ехать к детям в город. В соседней избе доживала век одинокая с войны вдова. На зиму старушки сбегались в одну избу, чтобы меньше жечь дров и веселее коротать время. По заказу местной хайловской промартели старушки плели кружева, и возьми да и скажи в починковском магазине, прилюдно, та старуха, которая в войну овдовела, теперь, мол, у нее душа на месте, на кружевах заработала копейку — на смертный день, и отойдет когда, так не в тягость людям и казне будет.

Прослышал Венька Фомин про старухины капиталы, переплыл в лодке через реку, затемно вломился в избушку, нож к горлу старухи приставил: «Гроши! Запорю!» Старуха не дает деньги. Грабитель ей полотенце на голову завязал и давай его вроде рычага палкой закручивать, голову сдавливать — научился уму-разуму в колонии-то. У старухи носом кровь, но она тайны не выдает. Да Венька-то местный вражина, трудно ли ему догадаться, где может храниться капитал. Сунулся за божницу, там, за иконами, и есть он, капитал-то, сто шестьдесят рубликов.

Неделю Венька Фомин пировал и диковал с друзьями-приятелями. Старушка-вдова собрала узелок, взяла батожок и подалась добровольно в хайловский Дом престарелых — доживать век на казенном месте, где и быть ей похороненной на казенный счет, под казенной сиротской пирамидкой.

По пути на Хайловск стояло село Тугожилино, на холме, за ольховым ручьем, летом часто пересыхающим. Много изб в Тугожилине обвалилось, стояло заколоченными, и лишь возле телятника еще копошилась жизнь, матерился пастух, рычал трактор, суетились две-три до сухой плоти выветренные бабенки, неотличимые друг от друга. Сошнин думал заскочить в Тугожилино накоротке, найти наглого разбойника, припугнуть его или забрать с собой и сдать в хайловское отделение. Но пришлось ему встретиться с Вениамином Фоминым в совсем не запланированные сроки.

Только Леонид разоспался, как тесть, Маркел Тихонович, бережно подергал его за рукав и, дождавшись, когда зять очнется от сна, сказал, что в Тугожилине Венька Фомин загнал в телятник баб, запер их на заворину и грозится сжечь вместе с телятами, если они немедленно не выдадут ему десять рублей на опохмелье.

— А, ч-черт! — ругнулся Сошнин. — Нигде покоя нету. — Надел изношенную, на ветрах, дождях и рыбалках корежженую шапчонку, старое демисезонное пальто — в свободное от работы время он всегда «залазил» в гражданское, и на пробористом ветру, в мозглой стыни и сыри почувствовал себя так одиноко, заброшенно, что и приостановился, словно бы в нерешительности или в раздумье, но тряхнул головой и глубже, почти на уши, натянул шапчонку. Маркел Тихонович, провожавший его из Полевки со Светкой до грейдера по грязному, разжульканному выезду, угадав подавленное состояние зятя, предложил «мушшынскую помощь» — Сошнин отмахнулся от Маркела Тихоновича, приподнял дочку, ткнулся губами в ее мокрую щеку. — Возвращайтесь в тепло. — И пошлепал по жидкой грязи, закрываясь куцым воротником пальто от сыпучего дождя, в котором нет-нет и просекалась искра снега. Дремля на ходу, он свернул на короткую дорогу, через поля и перелесок, спугивая с неряшливого и лохматого жнивья, по которому россыпью и ворохами разбросано зерно, отяжелевших ворон, диких голубей, стремительными стаями врезающихся в голые перелески. Прела стерня, прел недокошенный хлеб, будто болячки по больному телу пашни, гнили кучи соломы, разбросанные комбайнами, по рыжим глинистым склонам речки, ожившей от осенней мокроты, трепало до кудели неубранные бабки льна, местами уже уроненные ветром и снесенные речкой в перекаты. Перемешанные с подмытыми ольхами, лесным хламьем и ломом, они становились запрудами, пошумливали даже.

Воронье, тяжело громоздящееся на гнущихся вершинах елей, на жердях остожий, черно рассыпавшееся на речном хламе и камешниках, провожало человека досадливым, сытым ворчанием: «И чего шляются? Чего не спится? Мешают жить. . .» Голые, зябкие ольховники, ивняк по обочинам плешивых полей и по холодом реющей речке, драное лоскутье редких, с осени оставшихся листьев на чаще и продранной шараге, телята, выгнанные на холод, на подкормку, чтобы экономился фураж, просевшие до колен меж кочек в болотину, каменно опустившие головы, недвижные среди остывших полей, кусты мокрого вереса на взгорках, напоминающие потерявших чего-то и уже уставших от поиска согбенных людей, — все-все было полно унылой одинокости, вечной земной покорности и согласия с непогодою и холодной, пустой порой.

Возле тугожилинского телятника, плавающего в навозной, табачного цвета, жиже, в заветрии, под стеной, под низко сползшей крышей, бабенки, большей частью старухи, жались спинами к щелястым, прелым, но все еще теплым бревнам. Завидев Сошнина, они встрепенулись, загалдели все разом: «Злодей! Злодей! Нет на него управы. Вечный арестант и бродяга... Мать со свету свел... Он с детства экий...»

Сошнин заметил на крыше телятника сорванный лист шифера, сбросил с себя пальтишко, пиджак и, оставшись в фиолетовой водолазке, пижонски обтянувшей его от безделицы полнеющую фигуру, подпрыгнул, ухватился за низкую слегу телятника, взобрался на крышу, перебираясь рукой по решетиннику, спустился на потолок из круглого жердья, отодвинул пяток отесанных и загнанных в паз прогнутой матицы жердин, спрыгнул в помещение с едва теплящимися в проходе под потолком желтыми электролампочками, спрыгнул неловко, ударился больной ногой о выбоину в половице, приосел на скользкую жижу, запачкал брюки.

На темном полу, искрошенном в труху на стыках, в выдавленной из щелей никотинно светящейся жиже, стояли и тупо глядели на пришельца больные телята, не мычали, корма не просили, лишь утробно кашляли, и казалось, само глухое, полутемное пространство скотника выкашливало из себя в сырую пустоту пустой же вздох без стона, без муки, вздох, полный покорности. Ни к чему и ни к кому эти старчески хрипящие животные не проявляли никакого интереса, лишь вдали, где-то в заглушье, подал вялый голос теленок и тут же смолк в безнадежности, послышался едва слышный хруст, будто короед начал работать в бревне, под заболонью: теленок, догадался Сошнин по изгрызенным жердям перегородок, кормушек и стен, грыз прелое дерево скотника. Еще один теленок, сронив жердочку, вышел из размичканного в грязь загончика, лежал на склизкой, но все же чуть возвышающейся, не совсем еще утопшей теснине, а другой теленок, свесившись через перегородку, сосал или жевал его ухо, пустив густую, длинную слюну.

По скользкому коридору, с боков которого, словно на бруствере окопа, нагребен был навоз, Сошнин прошел в кормовой цех, отпер закрытых там двух насмерть перепуганных женщин. Они завыли в голос и, обгоняя друг дружку, бросились из телятника в противоположную, приоткрытую дверь, возле которой, на стогу свежепахнущего сена, утром привезенного на березовых волокушах с лесной деляны, безмятежно спал Венька Фомин.

Сошнин стянул его с воза, грубо потряс за отвороты телогрейки. Венька Фомин долго на него пялился, моргал, утирал рот рукой, не понимая, где он, что с ним?

— Ты ково?

— Я чево. Вот ты ково?

— Я тя спрашиваю, ты ково?

— Пойдем за ворота, там женщины тебе объяснят, ково и чево.

— Турист, пала! — взревел Венька Фомин и выхватил из сена вилы с ломаным черенком. Вилы древние, ржавые, о двух рожках, толсто обляпанных навозом, и среди них рыжие пеньки еще двух обкрошенных, словно выболевших, стариковских зубьев. «Ох уж эта обезмужичевшая деревня! Все в ней не живет, а доживает...»

— Запорю, пала!.. — Венька пошел на Сошнина, держа вилы наперевес, словно пехотинец с винтовкой в бою.

— Брось вилы, мерзавец! — Сошнин двинулся навстречу Веньке Фомину, чем весьма его озадачил.

— Не подходи, пала, запорю! Не подходи! — заполошно визжал Венька Фомин, пятясь к задним, полуоткрытым воротам телятника, чтоб, бросив вилы, ушмыгнуть в притвор, скрыться в родных полях и перелесках.

Сошнин отсек злодею путь к отступлению, прижимая его в угол. Венька Фомин был телом и лицом испитой, в ранних глубоких морщинах, подглазья — что голые мышата с лапками, пена хинным порошком насохла в углах растрескавшихся губ. Больной, в общем-то, уже пропащий и жалкий человек. Но пакостный, зло пакостный, и от него можно ждать чего угодно.

— Брось вилы! — рявкнул Сошнин и подпрыгнул к Веньке Фомину, держа руку наперехват.

Венька Фомин, прижавшись спиной к стене, поднял вилы, как бы загородившись ими. И тут бы свалил его подсечкой Сошнин, отнял бы вилы, дал бы по шее разок за всех обиженных и угнетенных и повел бы в Починок, на автобус, да возле ворот нарывом наплыла навозная жижа, припорошенная сенной трухой. Привыкший к твердой, опористой обуви — яловым сапогам, к двум твердым, пружинистым ногам, Сошнин в узконосых штиблетах поскользнулся хромой ногой, неловко упал на руку — и сработала, сработала подлая натура лагерника — бить лежачего. Венька Фомин коротко ткнул вилами. Сошнин мгновенно ушел от удара в грудь, но вилы все же достали его, и ржавый рожок как бы нехотя с хрустом вошел в живое тело, в плечо, под сустав. Венька Фомин, по-шакальи оскалившись, надавил на вилы, прикалывая Сошнина к коричневой гнилой плахе.

Рывком вскочив, Сошнин схватился за обломыш черенка вил, пытаясь их выдернуть. Боль пронзила его, повязала.

— Говорил, не лезь, пала! Говорил, не лезь... — вжимался в угол перепуганный Венька Фомин, вытирая разом вспотевшее лицо и губы запястьем руки. Высохшая пена крошилась, опадала перхотью с треснувших губ, застревала в реденькой беспородной щетине Веньки Фомина.

— Вытащи вилы, гад! — с отчаянием закричал Сошнин.

Дальше все свершалось в заторможенном удалении. Венька Фомин несколькими малосильными рывками, молниями рассекавшими голову Сошнина, выдернул вилы, и Леонид увидел на ржавом зубце сгустки крови, нечистые сгустки, на нечистом, словно пластилином облепленном, зубце, пошатнулся, зажал